



В. Ф. ЭРН

Толстой против Толстого (1912)

От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.

Матф. XII, 37

I

Величие Толстого признано всеми, до такой степени *всеми* и до такой степени *во всем*, что становится жутко. Первый из русских Толстой стяжал себе *мировую* славу. И слава эта столь велика, что, быть может, из всех известных людей последних веков Толстой самый известный и из всех знаменитых людей нашего времени самый знаменитый. *Ни о ком* из живых людей столько не говорили и не писали. Ни один писатель, артист и общественный деятель при своей жизни не был славен в такой степени, как Толстой, *во всех частях света*. И невольно поднимается вопрос: поскольку *подлинна* эта слава? Поскольку *искренне* это признание? — вопрос горький, но неизбежный. Слава Толстого холодная, внешняя. С признанием связывается глубочайшее равнодушие. Да! Возмутительное равнодушие к тому, *чем жил и мучился Толстой* всю свою жизнь, каменное невнимание ко всем душевным стонам, ко всем искренним вздохам этого великого и слабого человека.

«Вы считаете, что война необходима, — приводится в «Анне Карениной» изречение А. Karr'a¹. — Прекрасно. Кто проповедует войну, — в особый передовой легион и на штурм в атаку, впереди всех!»

Вы считаете, что Толстой велик и мудр, — можно сказать огромному большинству, т. е. сотням миллионов почитателей Толстого. — Прекрасно! Примите же *за правду* его заветы и поучения, — и на штурм в атаку против всего, чем вы живете, против всех устоев вашей жизни!

Почитание Толстого в величайшей степени словесное, разгортное, бумажное. Три четверти тех, кто говорит о Толстом с одушевленным восторгом, — *курит и пьет*, т. е. совершенно игнорирует все толстовские мысли о пьянстве и курении. Девять из десяти считают глупой сентиментальностью все слова Толстого о воздержании и целомудрии. Девяносто из ста пренебрегают за претом иметь собственность и отбывать воинскую повинность и заветами жить на земле, питая и одевая себя трудами рук своих. Получается лицемернейшее положение. Шумом славы заглушают *голос* Толстого, не слушая, *что* он говорит. Журналисты, адвокаты, доктора, которых Толстой с глубоким убеждением считает шарлатанами и тунеядцами, присоединяют свой голос к общему хору. И редко кто хочет отнестись к Толстому как к живому человеку, с искренним вниманием к тому, что он, Толстой, думает и говорит, чем он, Толстой, мучится и живет.

Еще менее настоящую славу Толстого можно искать в тех (впрочем, немногочисленных) *последователях* Толстого, которые, пренебрегая *личностью* Толстого и *божьим* даром его художественного гения, пытаются осуществить *букву* его религиозно-философского учения. Слишком очевидна несоизмеримость Толстого с толстовством. Самому Толстому стало невозможно от толстовцев, и он два раза заявил о своем различии от толстовства. «Мне жаль *расходиться с вами во мнении*, — пишет он Толстовскому обществу в Манчестере, — *но я не могу думать иначе*». И в дневнике он пишет о толстовцах: «Как [могут они] спрашивать, куда плыть, когда поток с неотразимой силой влечет *меня по радостному для меня направлению*? Люди, которые подчиняются одному руководителю, верят ему и слушают его, *несомненно, бродят впотьмах* вместе со своим руководителем».

Признание Толстого, словесное и лицемерное со стороны большинства, узкое и ограниченное со стороны «толстовства», не согревает, не вдохновляет, как та истинная добрая слава, слава у Бога, о которой говорит ап. Павел и видением которой ослеплялись первые христиане-мученики. Толстой давно предчувствовал этот ужасающий холод всеобщего признания. «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что же?» Именно, *ну и что же?* Эта слава, как и все «мирское», таит в себе дурную бесконечность и вечный голод. Чем больше ее, тем становится холодней и голодней. И она никак не отвечает на тот вопрос, который ставил Толстой. «И я ничего, ничего не мог ответить», — с отчаянием говорит он. Так же ничего, ничего не могут ответить виновники славы Тол-

стого, т. е. те, кто славу эту разносит, на центральный толстовский вопрос: *ну и что же?*

Для того чтобы добраться к живому Толстому, нужно прорваться сквозь обманчивый блеск его славы, нужно миновать безбрежное море слов, окружающих его имя. А сделать это необходимо и до такой степени нужно! Вместе с Достоевским Толстой — величайшее событие в образованном русском обществе за вторую половину XIX века. Вместе с Достоевским Толстой — явление *вулканическое*. Как огромный поток раскаленной лавы, льется его вдохновение в первую, великую, половину его жизни. И то, что интеллигенция, живущая на поверхности и поверхностью, то, что интеллигенция, обуреваемая последним «ветром учения» с Запада, давно забыла и растеряла, Толстой со стихийной силой вулкана вынес из-под земли, обогащенный тем таинственным соприкосновением с народной душой и с великой стихией народной жизни, которое составляет высшее достоинство гения. Кто не замыкается в узкие рамки интеллигентского доктринерства, в ком не погасло окончательное желание смотреть открытыми глазами на жизнь, тот должен быть радостно изумлен сокровищами толстовского творчества. Лава, вынесенная из подземных глубин, полна теми «породами» и теми драгоценными минералами, которых давно уже нет в так называемом образованном русском обществе, и потому для истинно образованных людей должна быть вдвойне достойной самого серьезного и глубокого внимания.

Чему учит Толстой? Где лежит живой нерв его более чем полувековой деятельности? Какие заветы оставил он нам? Где святая святых его жизни? Эти простые вопросы при малейшем внимании к его личности, при малейшей любви к правде становятся сложнейшими и труднейшими и кажутся почти неразрешимыми. Толстой писал «исповеди», излагал с величайшей ясностью, «в чем его вера», отзывался на все вопросы жизни, и он загадочнее Чехова, который никогда и не пытался исповедоваться и определять свою веру, и столь же загадочен, как Гоголь и Достоевский. Жизнь Толстого таит в себе какую-то *невысказанную трагедию*. О многих печалях и мучениях своей жизни Толстой говорит с откровенностью, которая кажется часто ненужной. Но о чем-то самом печальном в своей жизни он молчит. Молчит, может быть, потому, что и *не может* сказать и *не хочет* сказать. Некоторые хотят представлять себе жизнь Толстого как жизнь, полную исключительного душевного здоровья и подобную жизни древних патриархов. Но мы уже знаем теперь, какое ужасающее несогласие в семейной жизни прикрывалось видимостью внешнего мира. И «исключительное душевное здоровье» Толстого есть один из

многих интеллигентских мифов, которыми думают закрыться от какой-то трудной и тяжелой *правды*. Есть что-то скрытое и страшное в жизни Толстого, что фатально отразилось на всем его «деле», что поразило внутренним бесплодием вторую половину его деятельности.

И если мы хотим себе отдать отчет, что такое Толстой, если мы, сочувственно проникая в личную жизнь Толстого, будем правдивыми перед собой и благочестивыми перед его памятью и перед его бессмертной душой, — мы должны постараться заглянуть в это скрытое и страшное его жизни и избавить *себя и его* от вольной и невольной лжи, которой сам он сознательно и бессознательно не раз подавал повод.

II

Есть два Толстых: Толстой *природный* и Толстой *искусственный*. Первый Толстой — богоданный, с дивной щедростью одаренный благосклонной к нему, как к любимцу своему, Матерью Землею, в основе своей таящий дядю Ерощку, веселого человека, который всех и все любит, который не может и не хочет каяться ни за один свой «грех». Второй Толстой — надуманный, без всяких даров от ума своего обо всем рассуждающий мыслитель, упорный моралист, выросший из Нехлюдова, этого холодного человека, ничего не любящего, сентиментального и самодовольно-слепого.

Когда дядя Ерощка, живший в сильных страстях Толстого и создавший изумительнейший расцвет творческих сил в Толстом, с ужасом почувствовал преходящесть всего земного и тщету всего только природного и в паническом, почти животном страхе перед неизбежной смертью бросился искать выхода, — Толстой вплотную подошел к Церкви, и один волос отделял его от спасения, от благодатного претворения дяди Ерощки во что-то невидимо-прекрасное. Один волос только! Но тут-то и свершилась немая трагедия. Дядя Ерощка обернулся звериным своим существом, заупрямился, загордился, застыл в своей нераскаянности, и великая возможность погасла на многие годы. Дмитрий Нехлюдов, с юности живший в Толстом, вдруг стал шириться и занимать место Ерощки. Мелкий рассудок его и любовь к «добродетели» с готовностью оправдали Ерощкину гордость высшими, самыми европейскими соображениями о неразумности Церкви, и началась последняя пора жизни Толстого. Старый Ерощка,

такой же гениальный и прозорливый, как прежде, и такой же лукавый, затих в страстях своих и, пользуясь всеми благами жизни, окруженный дорогой простотой и незаметной роскошью (завтрак заново готовился до четырех и пяти раз, чтобы к выходу Льва Николаевича из рабочего кабинета всегда был горяч и свеж), жил в полном довольстве, а в это время князь Нехлюдов развил обширную писательскую деятельность, направляя все удары в угоду Ерошке на невидимый камень, о который ушибся Ерошка, — Церковь. Двенадцать томов гениального творчества дяди Ерошки были объявлены князем Дмитрием «художественной болтовней», и князь от себя написал еще восемь томов, изредка пользуясь даром Ерошки в своих нехлюдовских целях, изредка позволяя дяде Ерошке по-старому сверкнуть гениальностью.

Так прожил Толстой более тридцати лет, и когда всем казалось, что Ерошка давно уже угас и затих, что Толстой и Нехлюдов — одно, когда Церковь была сто раз «разрушена» и кощунственно оклеветана Нехлюдовым, вдруг неожиданно, с силой, заставившей радостно встрепенуться всех любящих Толстого, проснулся в Толстом дядя Ерошка. Несмотря на уверения Нехлюдова, что все великолепно, что, с тех пор как открылась князю «истина», радость и счастье жизни в нем *все растет*, Толстому стало тошно жить в своей яснополянской нехлюдовщине, и он ночью тайком бежал. Необычайно характерно, *куда он бежал*. Нехлюдов в своих произведениях с такой ясностью доказал, что Церковь — обманщица и совратительница, что, казалось бы, Толстому нужно было в своем уходе из дома за тридцать верст обходить каждую церковь. И вместо этого Толстой едет в Оптину пустынь, в одну из твердынь церковной, т. е. самой ужасной, лжи, к старцам, к этим наиболее сильным, по Нехлюдову, соблазнителям и обманщикам. Чувствуя свою слабость в личном сознании Толстого, чувствуя, что Толстой вот-вот готов уйти из его рук, Нехлюдов обертывается Чертковым...

Еще бы! Нехлюдов хитер и упорен. Вся его долгая работа в одно мгновение могла бы растаять, как воск от какого-то пламени, которое вот-вот готово было вспыхнуть над умирающим. «Примиритесь с Церковью и *православным русским народом*», — по телеграфу умолял митрополит Антоний. Но Нехлюдовым не нужно было никакого примирения. Последний акт трагедии совершился, и Нехлюдов, торжествуя, принял участие в ужасном семейном раздоре, пользуясь той нотариально скрепленной бумажкой, самое составление которой так противно всей природе Толстого.

«Совість России ушла», — написал Мережковский в газете. «Я отвергаю слухи, что отъезд этот — реклама», — сказал Шпильгаген². «Я сам готов на то же самое», — отозвался Стриндберг³, и поднялась та газетно-журнальная шумиха, которой заглушилась все скорбная правда кончины Толстого.

Да, смерть Толстого закончила немую трагедию его жизни. И есть в этой смерти что-то грустное, тоскливо-печальное, одинокое.

Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...
Непримиренное вздыхает сиротливо
И одинокое горюет над собой⁴.

III

Попробуем же приподнять край завесы над безмолвной трагедией. Чтобы быть убедительным, нужно быть документальным. Казалось бы, что может быть легче! Толстым написано около 10 000 стр. «Документов» — целое море.

Но трудность обозначается с суровой резкостью. Толстой-Нехлюдов считает 12 первых томов своих писаний *художественной болтовней* и придает настоящую цену только 8 последним. Автор же «Войны и мира», Толстой-Ерошка, с совершенно такой же категоричностью считает писания князя Нехлюдова *моралистической болтовней* и в 8 последних томах считает истинно ценным только Ерошкин чисто художественный элемент. Что последний тезис есть также утверждение *самого* Толстого — увидим ниже.

Очевидно, чтобы решить спор толстовского *сознания* с толстовским *гением*, нужно предварительно установить *сравнительную ценность* показаний Нехлюдова и показаний Ерошки. И эту сравнительную ценность нужно установить не только с нашей точки зрения, но с точки зрения *самого* Толстого. Так как князь, несмотря на свое правдолюбие, часто бывает тенденциозен и искажает совершенно известные нам факты, а дядя Ерошка этого не делает никогда и, главное, не может сделать *по своей, Ерошкиной, природе*, то, очевидно, неоднократные заявления князя о своем тождестве с Толстым мы должны взять под сомнение. Мы им не можем верить, потому что сам Толстой им не верит. А художественная болтовня дяди Ерошки, безыскусственная и простая, как сама Природа, несмотря на все уверения Нехлюдова, должна принять характер исключительной документальности и

редкой правдивости. Если мы очистим Толстого от болезненных наростов нехлюдовского сознания и примем его в его первоначальной, стихийной природе гениального дяди Ерошки, мы увидим, что вся рационалистическая «болтовня» князя Нехлюдова совершенно отвергается Толстым-художником и что поэтому нехлюдовское отрицание Церкви совсем не первично, не исключительно для Толстого-Ерошки, который в стихийном, художественном творчестве своем Церковь признает не бессознательной, но огромной силой.

Нехлюдов в «Исповеди» в порыве благочестивой лжи хочет оклеветать Ерошкино творчество. Он говорит про лучшие годы писательства Толстого: «В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал». Уличим же князя во лжи. Посмотрим, что пишет сам Толстой о своем творчестве в письмах как раз в то время, когда он начал «писать».

«Душенька, дяденька Фетинька. Ей-богу, душенька, и я вас ужасно люблю. Вот-те и все. Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишете; но любить хорошего человека очень приятно. *А может быть, против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне, еще не назревшая повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь*».

«Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е годы, — уже история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается — и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты. *Молюсь Богу, чтобы Он дозволил сделать хоть приблизительно то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас вера. И еще важнее, мне бы хотелось сказать. Но важнее ничего не может быть. И оно то самое и есть*».

Не внешние мотивы славы и корыстолюбия заставляли Толстого творить, как лжет Нехлюдов, а *внутренняя необходимость*, совершенно не зависящая от его сознательной воли. И писание для него было делом столь важным, что он *молился* о нем, как о чем-то самом значительном и нужном, что есть в жизни. Нехлюдов клеветает: «Надо было (по мотивам внешним) скрывать хо-

рошее и показывать дурное. *Я так и делал*». А подлинный Толстой-Ерошка свидетельствует, что он *не знал заранее*, что напишет, и потому «делать» в своем творчестве ничего не мог. «Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять, и совершенно неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что *это было органически необходимо*». Если между навозом и коростой Толстой зарождал свои творения с необходимостью, с какой зарождается завязь на оплодотворенном дереве, то и рождение уже назревшего плода было для Толстого «неожиданным» и потому *органически* необходимым. Эта внутренняя необходимость и величайшая безыскусственность находит в одном письме изумительно сильное выражение:

«Бабушка! Весна!.. Отлично жить на свете хорошим людям, даже и таким, как я, хорошо бывает... Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я старая, померзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что *я растение, которое распустилось вот только теперь, вместе с другими, и станет просто, спокойно и радостно расти на свете Божиим*... Все старое прочь! Все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаления, *все раскаяния*, — все прочь! *Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной*»...

«Посмотрите на лилии полевые — поистине можно сказать о художественном творчестве Толстого, — как они растут? Они не трудятся, не прядут». Вот когда евангельский завет Толстой понастоящему *исполнял*. Он не трудился и не прядл, а все в нем благодатью божественной Природы росло и зрело само. До такой степени само, до такой степени помимо усилий его воли и помимо его сознания, что *лично* он не мог даже обогатиться своими собственными откровениями. Не в этом ли вся трагедия его? У его художественного гения неисчислимы богатства, а его личное сознание нищенски страдает от голода и питается лебедой протестантского рационализма, не имея ключей и пути к собственным сокровищам.

IV

Мы видели, как Нехлюдов *лжет*. Он забывает результаты *собственного, толстовского опыта*, он заведомо искажает то, что

сам Толстой прекрасно *знает* и *даже помнит*. Но дело не в простой лжи. Тут ложь благочестивая. Гг. Нехлюдовы всегда лгут *из принципа*. И ложь Нехлюдова-Толстого, оставаясь ложью, т. е. искажением действительности, на самом деле *принципиальна*. Нехлюдов живет *рассудком*. Для него высшую авторитетность имеет рассудочная связь головных мыслей. Из действительности он признает только то, что сообразно с его нехлюдовским умом, все же, не вмещающееся в его скудные горизонты, он фанатически предаёт мечу и огню. Кошунственное описание обедни в «Воскресении», вся богословская болтовня князя Дмитрия в последних 8 томах сочинений Толстого, исполненная философской бездарности и моральной бестактности, — это все продукты недалекого нехлюдовского «ума». Но для Толстого-художника, для дяди Ерошки, нет ничего ничтожнее, чем «ум» вообще, и нехлюдовский в особенности. Столкновение между нехлюдовским маревом и Ерошкиной стихийностью носит поэтому глубочайший характер, между ними нет и не может быть примирения, и поэтому Нехлюдову остается один только выход: *лгать*. И он с благочестивым упорством, нераскаянно лжет.

Посмотрите, как Толстой-художник издевается над «умом».

«Пфуль был одним из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, т. е. мнимого знания совершенной истины... Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было что-нибудь знать. Немец самоуверен хуже всех и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину — науку, *которую он сам выдумал*, но которая для него есть абсолютная истина». И в «Войне и мире», монументальным красотам которой прямо устаешь изумляться, Толстой со спокойным сарказмом великана, легко опрокидывающего детские сооружения, не перестает указывать всю ничтожность «пфулевского» ума перед величием, значительностью и *неисповедимостью* развертывающихся событий. Ход жизни и военных действий ничего общего не имеет с умствованиями Пфулей, Вейротеров, Миков и Шмидтов. Они убеждены, что все делается ими, что победы зависят от их рациональных планов, а поражения — от того, что их «не послушали». А Ерошка-Толстой, как орел, парящий в неизмеримой высоте над ними, показывает с наглядностью ослепительной, что жизнь таинственна и непостижима в своей сущности и все результаты на поверхности ее зависят от каких-то

творческих, неуловимых и непередаваемых движений в ее глубочайших и скрытых недрах.

Эту противоположность между ограниченностью и самоуверенной слепотой «ума» и глубочайшей мудростью и зрячестью чего-то большего, чем «ум», Толстой четко вырисовывает в двух фигурах: Кутузове и Наполеоне.

Наполеон бесконечно ловчее тяжеловесных Пфулей. Но сущность их одна и та же: то, что Пфуль или Вейротер думают, то Наполеон *делает*, и делает легко, артистически. Как Пфуль и Вейротер, Наполеон уверен, что события европейские, мировые, повинуются *его воле*, которая господствует над ними посредством гениально-ловкого *ума*. Но Толстой с неумолимой силой и воочию показывает *иллюзию* наполеоновской уверенности, с художественной документальностью уличает его в *театральности* и в разыгрывании натянутой на себя роли и, главное, саркастически демонстрирует, что ум его только *ловок* и блесит фальшивым, обманчивым блеском.

Он приводит целиком ту диспозицию Наполеона перед Бородинским сражением, «про которую с восторгом говорят французские историки и с глубоким уважением другие историки».

«Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная, ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, заключала в себе четыре пункта, — четыре распоряжения. *Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено*... «Генерал Компан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением. Дивизия Компана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, должна была строиться под картечным огнем». «Вице-король овладеет деревнею (Бородином) и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Фриана. Пройдя Бородино, вице-король был отбит на Колоче и не мог пройти дальше; дивизии же Морана и Фриана не взяли редут, а были отбиты, и редут в конце сражения уже был захвачен кавалерией (вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное)». Но Наполеон написал еще в своей диспозиции, что во время боя *будут даны приказанья, соответствующие действиям неприятеля*. И Толстой с глубокой насмешкой дяди Ерошки в целой главе рассказывает, какие приказанья отдавал Наполеон во время боя, как он делал свои распоряжения на основании ложных донесений, и распоряжения эти или исполнялись раньше, чем о них подумал Наполеон, или же не могли быть и не были исполняемы; как, останавливая Кломерана и посылая Фриана, Наполеон «в отношении своих войск играл ту

роль доктора, который мешает своими лекарствами», и как вдруг после 8-часового боя он почувствовал бессилие своего «ума» перед чем-то гораздо более властным.

«Войска были те же, генералы те же, те же приготовления, та же диспозиция, то же *proclamation courte et énergique*⁵; он сам был тот же, он это знал; он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде; даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом, — *но страшный размах руки падал волшебнo-бессильно*»...

«Прежде после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздравлениями, с веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями: корпуса пленных, *des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis*⁶, и пушки, и обозы, — и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и т. д. и т. д. Теперь же что-то страшное происходило с его войсками... В первых сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой гибели охватывает беспомощного человека».

Антитеза Наполеону — Кутузов. «Он не гений», он не ищет «иллюзорной» власти над мировыми событиями, он бесконечно далек от театральности.

Скромного русского полководца как будто и нельзя противопоставлять «великому» корсиканцу. Но Толстой открывает в душе усталого старика черты такого потрясающего величия, в сравнении с которым «героизм» Наполеона становится опереточным.

От глубины души Кутузов презирает пфулевский «ум».

«Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее. Но очевидно было, что *Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания*». И презирал «не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), *а чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью*». Что же ясно было второму разуму Кутузова, что знал он своим старческим вторым знанием? «Все внимание Пьера было поглощено се-

рзным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно-жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: “Спаси от бед рабы Твоя, Богородице”, и священник и дьякон подхватывали: “Яко вси по Бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству”, — на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; чаще опускались головы, встряхивались волосы и слышались вздохи и удары крестов по грудям». *Вот что знал Кутузов*, вот что ощутил без посредства «ума» своего и вот почему спокойно принял бой под Бородином. «Вот, ваше сиятельство, правда, *правда истинная*, — проговорил Тимохин. — Что себя жалеть теперь? Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали пить водку: *не такой день, говорят*».

«Ополченцы, — говорит Борис, — те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти...

— Ты что говоришь про ополченье? — спросил Кутузов Бориса.

— Они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти, надели белые рубахи.

— А!.. Чудесный, бесподобный народ, — сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. — Бесподобный народ! — повторил он со вздохом».

Второй разум Кутузова оказался мудрее всей пфулевской гениальности Наполеона. Зверь нашествия был ранен *смертельно* под Бородином. И вместе со стариком Кутузовым великий писатель земли русской считает этот день днем величайшей победы, славнейшим для русских.

Такому соотношению между разумом первым и разумом вторым учит нас художник Толстой. И учит с такой четкостью художественного ясновидения, которая во всемирной литературе остается единственной.

Но Нехлюдов совершенно не согласен с Толстым. Разума второго он не знает. Знание второе, открывшееся Толстому в творчестве, ему абсолютно недоступно. Он своим скудным «умом» не может его ухватить. А так как Нехлюдова, по его же собственному, вполне искреннему признанию в «Исповеди», обуревают *похоть учительства*, то ему остается совершенно забыть уроки Толстого и, бережно поднявши повергнутого во прах Пфуля, поставить его на пьедестал и начать перед ним курения. Пфулевский ум, изничтоженный Толстым-Ерошкой, делается излюблен-

ным орудием нехлюдовской критики Толстого в последних 8 томах, и «противнейшая самоуверенность» «выдуманной» немцами богословской науки становится необходимой основой нехлюдовского похода против Церкви — величайшей святыни русского народа.

Но кто же лучше Толстого обнаружил всю тщету пфулевских замыслов? Кто монументальнее Толстого доказал, что пфулевский ум, даже и в гениальной тактике Наполеона, совершенно ничтожен перед духовными силами *иного* порядка, которые создают *не предвиденное* Пфулем Бородино и неожиданно наносят «зверю» смертельную рану?

V

Противоположность между Толстым-Ерошкой и Толстым-Нехлюдовым носит глубочайший характер. Тут в Толстом сталкиваются две непримиримые стихии, и в одной стихии он сверхчеловечески гениален, в другой же покинут решительно всеми богами.

Разнородность стихий прекрасно чувствует сам Толстой и сам дает ей замечательное определение.

Князь Нехлюдов рассудочен, «ум» для него нечто высшее, но «ум» всегда схематичен, дискурсивен, безобразен; в нем нет теплой крови действительности, нет трепета жизни. В противоположность этому второй разум Кутузова, второе знание Толстого свободны от схематизма и отвлечения, и свободу эту дает интуиция — непосредственное *видение*, направленное на образы, на целокупное *видение жизни*. Рассудок Нехлюдова, как и всякий пфулевский склад ума, волею Рока обречен на вечное пленение *схемами*, им же измышляемыми, разум Толстого-художника в свободном полете творческого созерцания достигает того «умного места» Платона, где *«все устанавливается в торжественном покое истины и красоты»*. И тогда ему хочется молиться. Схема пленяет, орлиными крыльями благодатно дарит Толстому *образ, символ*.

«Если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедают Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность *собрания* мыслей, сцепленных между собою для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами *особо*, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется *одна*, без того сцепления, в котором она находит-

ся. Само же сцепление составлено не мыслию (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, *описывая образы, действия, положения*. И одним из очевиднейших доказательств этого Толстой справедливо видит неожиданное для него самого «самоубийство» Вронского. Своему благожелательнейшему критику Н. Н. Страхову Толстой пишет: «Ваше суждение о моем романе верно, но не все, т. е. все верно, но то, что вы сказали, выражает *не все*, что я хотел сказать». Причина простая и несомненная. Целостный художественный образ *неразложим по природе своей* на дискурсивные суждения критика, как бы ни были талантливы эти суждения, и Толстой с истинным величием говорит: «Если бы я хотел сказать словами *все* то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман *тот самый, который я написал сначала*». «Сущность искусства» «состоит в бесконечном *лабиринте сцеплений*», и эти сцепления выразимы лишь в художественном, сверхрассудочном образе-символе. Находясь в художественном, Ерощкином, периоде своей жизни, Толстой понимал нечто большее. Он понимал, что и в философии «пфулевский» ум дает результаты плачевные. «Философия чисто умственная *есть уродливое западное произведение*, и ни грек Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так».

Противоположность между одним Толстым и другим с особой силой сказывается на исключительности *зрячести* и в исключительной *слепоте*. «Наш брат, — пишет он Н. Н. Страхову, — беспрестанно, *без переходов прыгает* от уныния и самоуничтожения к непомерной гордости». Эти переходы естественны и необходимы. Доколе на крыльях созерцания, божественно ему данных, Толстой следует сверхрассудочному *сцеплению образов*, творчески в нем возникающих, он «Бог», он все видит и власти его нет пределов. Но как только, оставляя богоданные крылья, он пытается идти ногами рассудка, он превращается в самого обыкновенного червя, связанного в своих движениях, плененного слепотой и незнанием.

«Я охотник, — говорит Ерощка. — Против меня другого охотника по полку нет. *Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю...* Я какой человек! След найду — уж я его знаю зверя; и знаю, куда ему лечь и куда пить или валиться придет... Все-то *ты знаешь, что в лесу делается*. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, выждешь, вот-вот затрещит, придет кабан молиться. Слушаешь, как там орлы

молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся или гуси. Гуси — так до полночи значит. *И все это я знаю*». И исполненный мудрости древнего бога Пана, Ерошка о хваленом «уме» человека говорит: «Эх-ма! *Глуп человек, глуп, глуп человек!*»

В художнике Толстом сидит настоящий Ерошка. В *лесу человеческой жизни он все знает*. Всякую птицу найдет, след увидит и уже *знает зверя*. Ему одинаково ясно, что делается в душе Анны Карениной, что думает старый мерин Холстомер, как рождает Кити, каковы предсмертные мысли князя Андрея. И когда уже он знает, то знает так, как никто из людей не знает. И исполненный этого знания, он, как художник, об «уме» человеческом с потрясающей силой говорит: «Глуп человек, глуп, глуп человек!»

В одном письме он с тоской говорит: «Нет умственных и, главное, поэтических наслаждений. На все смотрю как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть, *понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде*». И в письме к Фету эта противоположность между Толстым-Ерошкой и Толстым-Нехлюдовым находит классическое выражение: «*То чувствуешь себя богом, что нет для тебя ничего скрытого, а то глупее лошади*».

Своевременно поставить вопрос: какое нам дело до Нехлюдова? Нехлюдов — самозванец. Это — «лошадь», которая разыгрывает из себя бога только потому, что на ней ездил бог. Все свои богословские сочинения Толстой пишет не благодатью художника, которую мы чтим благоговейно, а насильственным самозванством Нехлюдова. Но мы хотим учиться у «бога», для которого нет ничего скрытого, который все видит насквозь с любовью, который самим фактом своей гениальности свидетельствует о том, что *призван* сказать что-то нужное и важное для нас, но и мы решительно отказываемся слушать Нехлюдова, когда он устремляется в духовный вертоград человечества и топчет и мнет в нем лучшие и благородные цветы.

Вопрос о равноправности двух Толстых после всего вышесказанного не имеет смысла и силы. Первый Толстой дарит нас художественными *откровениями*, которые в целом мировой литературы занимают совершенно бесспорное место. То, что сказал Толстой, никто никогда до него не говорил. Он существенно обогатил мир человеческой мысли. Но второй Толстой ничего *не открывает*. Это — «Мегалеон», по меткому выражению Соловьева, «непременный Колумб всех открытых Америк». Если бы он направил свою нехлюдовскую энергию на стихотворчество или на писание музыкальных произведений, всем была бы ясна вся фальшь его направления. Но он зафилософствовал, он занял по-

зицию морального обличителя, и вот он приобретает мировую известность именно в качестве князя Нехлюдова и благосклонно оделяет ею дядю Ерошку, без которого начало карьеры князя совершенно немыслимо. Но это все же не «дарование», не *призвание*. Как ни славен Нехлюдов, но одной количественной тяжестью своей славы он не может заглушить голос старика Ерошки, ибо голос этот, как труба Божьего посланника, рассекает всю фальшь нехлюдовских хитросплетений и свидетельствует с дивной силой священную правду того, над чем легкомысленно, упорно и лицемерно кощунствует «добродетельный» князь.

VI

Теперь мы можем сказать о настоящем отношении Толстого к Церкви. Нехлюдов хотел бы уверить весь мир, что отношение Толстого к Церкви *одно*: отрицательно-нехлюдовское. Но мы документально можем утверждать, что у Толстого *два* отношения к Церкви, а не одно, в совершенном соответствии с двумя стихиями в Толстом: рассудочной и художественной. И чисто художественное признание Толстым Церкви настолько же первичнее, значительнее и метафизически-документальнее нехлюдовской «болтовни», насколько первичнее и природнее в Толстом художник сравнительно с резонером.

Главное основание, по которому Толстой-Нехлюдов стал выдумывать свою веру, — это *неразумность* Церкви. В «Исповеди» много раз говорится о невозможности принять чудеса и поверить в реальное воскресение Христа. «Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество, признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это *Бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, что я не могу принять, пока я не сошел с ума*». Так «оправдывает» Нехлюдов свою вражду к Церкви. «Ум» выдвигается как самый сильный и единственный аргумент. Но мы осмеливаемся сказать, что Толстой *всегда и радикально сходит с этого пфулевского «ума»*, как только вступает в сферу творчества и художественного созерцания сверхрассудочного сцепления образов. В этом смысле Толстой-художник, с нехлюдовской точки зрения, *всегда «с ума сшедший»*. И этот сумасшедший Толстой художественно исповедует свое глубочайшее признание *высшей* разумности Церкви, отвергаемой «лошадиным» умом Нехлюдова.

В Церкви нет явления, видимо, более сумасшедшего и более «безумного», чем *юродство*. Все «сумасшествие» Церкви здесь находит свое особенно сильное, особенно осязаемое выражение. Но вот какая изумительная хвала юродивому Грише вырывается из уст Толстого-художника.

«Гриша беспрестанно твердил: “Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Мати Пресвятая Богородица”, с различными интонациями, сокращениями и выговаривая эти слова так, как их говорят только те, которые часто их произносят. С молитвой он поставил свой посох в угол, осмотрел постель и стал раздеваться... Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливость, беспокойство, *тупоумие*; напротив, он был спокоен, величав и умно-задумчив».

«...С трудом опустился он на колени и стал молиться. Сначала тихо, ударяя только на некоторые слова, потом все более и более воодушевляясь... Он молился о себе, просил, чтобы Бог простил его, молился о маман, о нас, твердил: “Боже, прости врагам моим!” Кряхтя, поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле, бил лбом о землю и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, резкий звук, ударяясь о землю.

Долго, долго находился он в этом положении религиозного восторга, импровизируя молитвы. Слова его были грубы, но трогательны. То твердил он несколько раз сряду: “Господи, помилуй, Господи, помилуй”, но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: “Прости мя, Господи! Научи мя, что творити, научи мя, что творити, Боже мой!” с таким выражением, как будто он говорил с кем-нибудь, как будто ожидал сейчас ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания. Наконец он приподнялся на колени, сложил руки на груди, поднял глаза к небу и замолк.

Я высунул потихоньку голову из двери и не переводя дыхания смотрел на Гришу. Он не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; кривой глаз был освещен луною: мутный, неопределенного цвета зрачок был влажен и на реснице его висела слеза.

— Да будет воля Твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал как ребенок»...

«О, великий христианин Гриша! — восклицает Толстой. — Как сильна была твоя вера! Ты знал, что Бог слышит тебя, твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес

Его величию, когда, не находя более слов, в слезах повалился на землю!»...

Нехлюдов-Толстой все захотел *поверить рассудком*, и не только смиренного Гришу, но и всю религиозную сторону христианства уничтожил в своей дистиллированной «вере». И та душа, которую так прекрасно ощущал Толстой-художник, отлетела, и в руках Нехлюдова остался один только труп христианства; и этот-то труп он с упорством в продолжение тридцати лет противопоставлял христианству живому, в котором Гриши находят благовейное почитание.

Художник Толстой свидетельствует: «Впечатление, которое произвел на меня Гриша, и чувство, которое возбудил, *никогда не умрут в моей памяти*». Не верить этому мы не имеем права. В Толстом-художнике Гриша *не мог умереть*, потому что гений Толстого раз и навсегда увидел, «*подсмотрел из чулана*» величайшую красоту и *высшую разумность* Гриши. Гриша безумен только для первого, «пфулевского» ума, Толстым осмеянного, но этот же самый Гриша в высочайшей степени *мудр и велик* для разума второго, Толстым воспетого. Что же случилось? Почему Толстой в своих богословских сочинениях подымает Гришу на смех?

Почему кощунственно издевается над сверхрассудочной верой Гриши, над его великой безмолвной молитвой? Ответ ясен: между Толстым и Гришей встал Нехлюдов. Толстой умилялся над Гришей, *стоя в чулане*, для Гриши невидимый, скрытый темнотою ночи. Его *всего* здесь не было, было одно только гениальное его *зрение*. В минуты незабвенного восторга над Гришей Толстой весь превратился в созерцание, *отождествился* с тем, что ему виделось, и потому-то Гриша *беспрепятственно* вошел в его детскую душу. Впоследствии Толстой не раз видел «старцев», этих родных братьев и духовных отцов Гриши, но уже бескорыстно, художественно узреть их *он не мог*. Разделяло «тело» — он *сам*. Так, умиляясь Гришей, он в порыве чистого детского чувства *забыл себя*, обеспамятел на *все свое*, и душа его, свободная от оков эмпирической личности, постигла непостижимое. Здесь перед старцами был уже Толстой, измышляющий *свою* веру, желающий не столько увидеть, сколько поучить, не столько постигнуть, сколько сказать «свое», не столько склониться ниц, сколько *поверить рассудком*. Нехлюдовская *самоть* Толстого отделила его навеки от Гриш и закрыла от него то, что сам он постигнул в детстве. Толстой не мог не чувствовать чего-то высшего в старцах. «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким чело-

веком говоришь, то *чувствуешь близость Бога*». Но тут же К. Н. Леонтьеву о старце Амвросии Толстой говорит: «Он преподает Евангелие, только не совсем чистое, а вот на, возьми *мое Евангелие*». Мы понимаем возмущение Леонтьева. Если бы Хлестаков, стукнув по колену Толстого, сказал ему: «Молодец, хорошо пишешь. Только у тебя, брат, слишком много художественности, давай, я тебя переделаю», — это было бы гораздо невиннее и эстетичнее. Нехлюдов уже прочно засел в Толстого, и Толстой видя не видел и слыша не слышал, потому что «ожесточилось сердце его».

При входе к старцу Толстой поцеловал его руку, а когда стал прощаться, то, чтобы избежать благословения, поцеловал его в щеку. «*Горд очень*» — вот приговор старца. Достоевский при всей своей исключительной сложности был *проще*. К таким уловкам не прибегал. В чулане Толстой по чувству своему *целовал ноги у Гриши* — там мог он быть во всю меру души своей искренним; в келье же старца, с проглоченным аршином Нехлюдова, спина его не *сгибается*, — и он, непосредственно после беседы со старцем, говорит Леонтьеву: «А вот на, возьми *мое Евангелие*».

VII

В «Исповеди», сочетавшей в поразительной смеси благочестивую нехлюдовскую «ложь» с потрясающими стонами дяди Ерешки, «панически» испугавшегося смерти, Толстой выставляет причиной своего отпадения от православия то, что православие «внежизненно» — бездейственно в жизни. «Верочение это исповедуется где-то там, вдали от жизни, независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением». Толстой-Нехлюдов осмелится сказать гораздо больше. «По жизни человка, по делам его... нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующим православие и отрицающим его, то не в пользу первого. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях *тупых, жестоких и считающих себя очень важными*. Ум же, честность, прямота, прямодушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими».

Так говорит Нехлюдов и опять по-нехлюдовски *лжет*. Мы только что говорили о юродивом Грише. О нем свидетельствует Толстой-художник. Гриша явно и фанатично исповедует православие. И в нем ли нет жизни, отличной от тех, кто православие

отрицает? Как нечестно относится Нехлюдов к художественной памяти Толстого! Ведь обещал же Толстой Гриши *никогда* не забывать. Но «Гриши» — явление собирательное. В православии Гриши всегда были, всегда есть и всегда будут. Об одном из этих Гриш Толстой, уже плененный нехлюдовщиной, говорит: «Этот о. Амвросий *совсем святой человек*». А если *святой*, то чего же еще нужно Толстому?

Но оставим святых. «Святые» в фокус художественного зрения Толстого не попадали. Один Гриша — исключение. Зато простые, смиренноверующие из православия не раз попадали на полотна толстовских картин, и всегда Толстой, следуя внушениям своего гения, рисует их, как бы прямое опровержение всем благочестивым наветам Нехлюдова. Хороший пример Наталья Савишна. Она ли *не православная*?

«Нет, батюшка, — говорит она на вопрос Николенки о том, что умершей матери, — теперь ее душа здесь, — и она указала на потолок. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то. — Вот я вам скажу, мой батюшка, — продолжала старушка, — две недели после кончины душа бывает в своем доме, только ее не видать; на четырнадцатый день ее уносят в первое мытарство, потом во второе, в третье, и так она ходит сорок дней, и когда пройдет через все, тогда уж вселяется в царствие небесное».

Вы слышите специфический *аромат* православия, и вот что о жизни этой смиренноверующей православной души говорит Толстой:

«С тех пор, как я помню себя, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала о себе: *вся жизнь ее была любовь, самопожертвование*»...

Когда татап при выходе замуж вручила Наталье Савишне вольную и пообещала отдельное жалованье, «Наталья Савишна молча выслушала это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала себе что-то под нос и выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

— Что с вами, голубушка, Наталья Савишна? — спросила растроганная татап, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, — с усилием удерживая слезы, отвечала она, — должно быть, я вам противна стала, что вы меня со двора гоните. Что же, я пойду.

Она вырвала свою руку и хотела уйти из комнаты. Но татап удержала ее, обняла, и они обе расплакались». Всего *раз* обидев Николеньку, она сейчас же стала просить прощения.

«Полноте, мой батюшка, не плачьте... полно, простите... меня, дуру. Я виновата. Уж вы меня простите... вот вам. — Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда».

А как она умерла!

«Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычке беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихой радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощения за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, ежели по глупости своей огорчила кого-нибудь, “но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась”. Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать со священником, вспомнила, что ничего не оставляла бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе. Потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие».

Толстой-вольнодумец, но еще не Нехлюдов, пораженный красотой ее смерти, порывисто восклицает:

«Боже великий! Пошли мне такие же мелочные заботы, *такое же суеверие, такие же заблуждения и такую же смерть*».

Так нехлюдовская хула застывает на устах художника-Толстого и превращается в редкое по силе славословие. История старая и вечная. Валак, сын Сепфоров, просит Валаама: «Прокляни мне Израиля». Но Валаам отвечает: «Не могу сделать от себя ничего. *Сделаю то, что внушит мне Господь*». И Господь говорит Валааму: «Не проклинай народа сего, ибо он *благословен*»⁷. Благословенность православия ощущает Толстой-художник и не может преступить Божьего веления. Как ни старается Валак вырвать от кудесника Валаама магическое проклятие, как ни соглашается Валаам по своей человеческой воле исполнить же-

вание Валака — божественная правда ненарушима человеческим произволом и ослица заговаривает человеческим языком, когда Валаам забывает внушение Господа.

Нехлюдов — только Валак, которому нужно проклятие Валаама, чтобы сразиться с Израилем, но который в магической сфере, в делах божественных — совершенный профан и совершенный неуч. И как ни подбивает он художника-Толстого изречь свою авторитетную и магически-сильную хулу на православие, Толстой не может этого сделать и в творчестве своем всегда Израиля благословляет. Когда же он хочет ехать в стан Валака и по внушению человеческому пишет свое «Воскресение», — мы присутствуем при величайшем падении художника: Толстой превращается в обыкновенного литературных дел мастера, который, пользуясь техникой толстовского писания, пишет роман à thèse⁸, со сравнительно большой ловкостью, но уже без всякого вдохновения, без всякого *веления свыше*. Так же точно раньше он написал «Плоды просвещения» — этот недостойный Толстого, нехлюдовски-грубый шарж. Любуясь собой, своей добродетелью и своим покаянием, Нехлюдов на протяжении пятисот страниц непрерывно воскресает и все никак воскреснуть не может. Роман кончается неопределенным обещанием со стороны автора, что вот теперь, в ближайшем будущем, Нехлюдов непременно окончательно воскреснет и *начнет* новую жизнь, потому что Нехлюдов наконец что-то такое «понял». Но так как Нехлюдов на каждой странице постигает какую-нибудь «истину» и все-таки не воскресает, то в *будущее* воскресение его мы не имеем никаких оснований верить. Так, из Валаамова предпрятия благословить Валака против Израиля ничего не вышло.

Нехлюдовское воскресение на 500 стр., разрешающееся в неопределенное обещание воскреснуть в неопределенно будущем времени, поучительно сравнить с истинным воскресением, славословие которому нелицеприятно творит гениальный художник. Он замышляет писать не светлую жизнь добродетельного князя, а беспросветную *власть тьмы* над жизнью православных русских мужичков, и что же получается? Православные за себя постояли. Они грешны, жестоки, порочны. Кажется, в первых актах драмы Нехлюдов шепчет Толстому: «Не жалея темных красок: рисуй крошечную тьму». И тьма действительно сгущается до адских тонов. Казалось бы, выход один: веревка. И вдруг среди этой тьмы блистает ослепительный свет. «Батюшка! Ты здесь? Гляди на меня! Мир православный, вы все здесь! И я здесь. Вот он я! (*Падает на колени.*)» И захватывающую духовную красоту, и натуралистическую правду потрясающей сцены покая-

ния Никиты перед православным миром нужно отнести к лучшим страницам из всего написанного Толстым. Урядник кричит: «Вяжите его! Акт!» А отец Никиты говорит: «Экий ты: тае. Погоди, говорю. А об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, Божье дело идет... кается человек, значит, а ты, тае, ахту»... Урядник еще раз: старосту! Но Аким: «Дай, Божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и, тае, справляй, значит»... *И в восторге говорит сыну: «Говори, дитятко, все говори, — легче будет. Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то! Он во!...»*

И опять Валаам со священной силой благословляет Израиля. В «Воскресении» не смог благословить Валака, а во «Власти тьмы» вместо проклятия изрек величайшую хвалу народу, благословленному Богом тем благословением, о котором сказал Тютчев:

Удрученный ношей крестной
 Всю тебя, земля родная,
 В рабском виде Царь небесный
 Исходил, благословляя...⁹

VIII

«В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел чинов Церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших, беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся».

Ужас Толстого перед войной и перед всяким убийством, перед всяким пролитием хотя бы даже и очень повинной, но теплой человеческой крови — самый праведный ужас в Толстом. И ничто, мне кажется, не снискало Толстому столько симпатий в России, ничто не приковало к нему сочувственного внимания во всех концах света, как этот искренний и стихийный протест против пролития крови. В самой Природе заложен ужас убийства. Сама земля, как одушевленное существо, боится его и оскверняется им. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли, — говорит Господь Каину. — *И ныне проклят ты от земли, которая*

отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. IV, 10–12). Дядя Ерошка, несмотря на свою «охотничью» практику, крови проливать даром не любит, и при виде ее лицо его делается строгим и грустным.

Но Толстой не остается при этом природном, инстинктивном ужасе перед кровью. Он самое чувство свое опутывает *нехлюдовской идеологией*, и тут начинается упорная ложь. Работая пфулевским умом, он создает целую систему жизнепонимания, можно сказать *полярного* христианству, и уже на почве этого жизнепонимания критикует историческое отношение христианства к войнам. И священный огонь возмущения первобытной человеческой природы против греховного состояния мира, во зле лежащего, переходит в Толстом, при благосклонном участии Нехлюдова, *в озлобление умственно-рассудочной борьбы*, и все, что было прекрасного и истинного в первоначальном протесте его, гаснет в умствованиях сомнительного свойства и доказательств чрезвычайно натянутых и искусственных.

В «Оправдании добра», в главе «Смысл войны», и особенно в «Трех разговорах», Соловьев дает уничтожающую критику толстовских «умствований» о войне. Вряд ли что-нибудь можно прибавить к критике Соловьева в смысле *чисто логических* соображений. Против мнимой «логики» князя (Нехлюдова), в себе не уверенного, путающегося, Соловьевым выдвигаются аргументы такого беспорядочного и, главное, *объективного* характера, что всякий, кто взвесит беспристрастно толстовские рго и соловьевские contra, должен видеть, что в сфере *логических* аргументов Толстой совершенно побит и ничего не мог бы ответить и (фактически) не ответил — *хотя имел возможность и должен был ответить* — на соловьевскую критику.

Но я не хочу входить в объективное рассмотрение вопроса об отношении христианства к войне. Я исследую столкновение *двух сознаний в самом Толстом*, и в вопросе о войне, так же как и во всех других вопросах, мне важно не то, насколько слабы и бездоказательны нехлюдовские воззрения Толстого, *взятые сами по себе*, а то, насколько глубоко и радикально отвергаются они *вторым художественным разумом самого Толстого*.

Нехлюдов использовал по-своему стихийное возмущение дяди Ерошки против пролития крови. Праведный ужас Толстого Нехлюдов отливает в форму схоластических силлогизмов и *превращает их в самый сильный свой аргумент против Церкви*. Не чудовищное явление войны уже занимает Толстого, а хороший козырь в затеянной борьбе против православия. Ужас его не ужас святого перед злом жизни, а ужас *геометра* перед сложностью и

геометрической неправильностью реального, бесконечно сложного узора жизни. Ужасает Нехлюдова не война как реальное явление, а невыводимость и рациональная несоединимость войны с теми искусственными и надуманными основоположениями, в добровольном плену у которых находится его неповоротливый пфулевский ум. И как Пфуль в озлоблении своего рассудочного фанатизма не хочет считаться с *действительностью* и реальные войны объявляет фантастикой и небытием, потому что они не согласуются с выдуманными им тактическими схемами, — так и Толстой решительно отвертывается от реальной жизни с неминуемыми войнами и весь уходит в беспредметное *постулирование* чего-то абсолютно неопределенного во имя своей нехлюдовской схемы. Реальная жизнь, *метафизически отрицаемая им*, превращается в лишнюю всякого смысла и всякого истинного бытия нелепость или, говоря другим языком, в *меон*. В этом пункте сходятся, как это ни странно, гносеологическая алгебра кантианства с моралистической арифметикой Толстого, и Толстой-Нехлюдов опознается как верный ученик той самой исключительно *отвлеченной* философии, которая, по признанию самого Толстого, есть *уродливое произведение Запада*.

Война есть абсолютное зло — аргументирует Нехлюдов. — Церковь благословляет войны — *ergo, Церковь преступна и зла*. Ergo, я, Нехлюдов, должен исправлять Евангелие и создавать «чистое» понимание христианства. С виду гладко и хорошо. Но из всей нехлюдовской лжи ложь этой аргументации самая глубокая. Ибо она есть тот скрытый корень, на котором держится вся нехлюдовщина Толстого.

Мы можем сказать с таким же правом: война есть абсолютное зло. По всему земному шару люди воюют и убивают друг друга. Так есть, так и было. Неопределенный и туманный Бог Толстого *допускает это*. Ergo, Бог Толстого преступен и зол. Ergo, я, имя рек, объявляю все мироздание чертовым водевилем и свой билет на это милое зрелище «возвращаю обратно».

Нет ничего хуже и ужаснее беспредметного «либерального» *оптимизма*. Если уж правда, так правда до конца. Церковь зла и преступна. Христос зло разрушил на каких-нибудь сто лет, и потом на две тысячи лет ад восстанавливается с новой силой. Нехлюдов и на пять минут разрушить его не может. Что же делать? Не курить? Не есть мяса? Продавать по 5 копеек «чистенькое» Евангелие Толстого?

Перед этим кошмаром добродетельный князь, надев белый халат «неделания», пускается в маниловские излияния. «Люди добры по природе»... — Но откуда же тогда войны, убийства,

смертные казни?.. Почему добрые по природе люди *вечно* живут в состоянии зверства и взаимного убиения? Князь закрывает глаза и говорит: «Ведь стоит им только *сказать*, открыть глаза, чтобы они *поняли*»... Стоит! Но ведь людям непрерывно говорили. Восставали пророки огромной, непревзойденной силы. Учил Будда, учил Сократ, учил Христос. Отчего все *безрезультатно* (как утверждает Толстой)? Или князь верит в «прогресс»? 60 веков люди были волками, а на 65-м станут «овечками»? Нет, Толстой слишком энергично объявил учение о прогрессе величайшей нелепостью и бессмыслицей. Ergo, в будущем человечество ожидает то же, что было и в прошлом, что есть в настоящем. Но тогда где же тот хваленый *смысл жизни*, о нахождении которого Нехлюдов оповестил весь мир и нахождением которого на весь мир прославился? И неужели во имя этого бессмыслия Толстой может кощунственно подымать свою руку против Церкви?

В силлогизме князя о войне есть одно *скрытое* утверждение: *возможно такое состояние нашего эмпирического мира, когда в нем не будет убийств и не будет зла*, и потому-то Церковь, одобряя войны, преступна. В этом утверждении и лежит корень толстовского отрицания Церкви. Ведь если эмпирический мир невозможен без зла и в нем всегда будут воевать, если путь Церкви лежит не через выдуманный и несуществующий маниловский мир, а через реальный, полный крови, слез и борьбы, — то, очевидно, Церковь не может уклониться от живого участия в этой борьбе и никогда не может по-пилатовски умыть себе рук. Только война при благословении Церкви становится *священной* войной и священна она ровно настолько, насколько участники ее борются за *духовные сокровища веры и за высокие права исторического призвания*. При оскудении веры оскудевает и священность войны, но тогда грех и ужас войны в оскудении веры и идеалов, а не в ней самой. Церковь считает эмпирический мир тяжким, болезненным состоянием; тогда как для Толстого мир наш очень даже хорош, особенно если в нем появляются время от времени такие прекрасные люди, как Нехлюдов. Толстой в мире с миром и потому враждует с Церковью, которая с миром не в мире, а во вражде, ибо чаёт и мира, и мира другого. Толстой, как ни радикален он с виду, хочет очень *немногого*. Если все люди перестанут курить, пить, убивать, то вот оно и пришло, Царство Небесное, и все чаяния языков сбылись. Не говоря о маниловской несбыточности и нарочитой придуманности этих воздушных замков, Толстой-Нехлюдов в странном душевном ослеплении забывает один страшный факт: *смерть*. Как ни мечтателен князь, но ведь не может же он серьезно надеяться, что вечные боги, уми-

ленные добродетельностью его, нехлюдовского, потомства, ода-рят их в знак своего восторга *бессмертием* и изведут из царства тления, смерти и времени в новые, сверхчувственные условия существования? Но если и в Царстве Небесном будет царить *смерть*, какая разница между нашим теперешним миром и тем? Теперь на сто, а может, и на тысячу человеческих смертей приходится одна смерть от убийства на войне, тогда все сто и вся тысяча смертей будут «естественными». Что же изменится? Одна сотая или одна тысячная зла. И неужели бочка дегтя станет сладкой от одной капли меда? Но, может быть, со смертью нужно «примириться» и признать ее явлением нормальным и благодарить Хозяина за это мудрое и благодетельное установление? Но тогда почему же не благодарить этого же самого Мудрого Хозяина за войны, Им посылаемые, и за вражду, Им попускаемую, — почему не признать войну явлением глубоко нормальным и столь же естественным, как дыхание, как зарождение жизни, как смерть?

Церковь отрицает в корне нормальность нашего мира. Ее цель — не частичные реформы мира, не лечение пластырем и настойками, а *преображение мира*. Весь строй нашей жизни греховен и ненормален. Из эмпирического тленного материала нашего мира нельзя построить селений вечных и чертогов небесных. Сказать: смерть нормальна, а война ненормальна, это значит сказать двойную ложь: и моральную, и фактическую. Ибо смерть совершенно неприемлема духом человеческим, духом Божьим в человеке. Ибо, с другой стороны, в природе, в растительном и животном мире, война есть «нормальнейшее» и распространеннейшее явление. Нехлюдов думает, что война *придумана* людьми, потому ее можно и «отдумать». На золотом сердце человека «кто-то» поставил грязное пятно, но стоит только захотеть, и пятно можно снять и не будет больше войн и останется чистое золото. В сущности, зла нет, а есть недоразумения, которые могут быть устранены письменной проповедью Нехлюдовых и Чертковых в разных концах света. Церковь же говорит о глубочайшем *грехе всего мира*, и война среди тьмы человеческой жизни не только не есть самое темное место, но, наоборот, может быть, *светлее другой обычной тьмы* и часто служит необходимым средством для разьяснения мрака непереносимого, для перехода в более сносное состояние. Нехлюдов думает, что когда сердце его преисполнено «добродетели» и он уже бросил курить, пить и прелюбодействовать, то он «ходит в свете» и спешит это свое хождение указать как пример всем находящимся во «тьме». Церковь же, по примеру Евангелия, *любит грешников* — в сердце одного дяди Ерочки, на совести которого лежит не одно человеческое

убийство, может оказаться больше чистого «золота», чем в Нехлюдовых всего мира, взятых вместе. В способе и духе *оценки* лежит сущность разногласия. Для прямолинейного пфулевского ума Толстого-Нехлюдова война — предел ужаса и преступности. Для Церкви же предел зла и греха — в глубинах человеческого и мирового сознания, в которых действует Дух зла, и война поэтому становится явлением вторично и третично *производным* и в своем эмпирическом виде может служить торжеству Добра и поприанию Зла.

Мы остановились подольше на анализе нехлюдовского отношения к войне, потому что Толстой особенно на нем настаивает. Противопоставляя нехлюдовскую прямолинейность сложности церковно-христианского жизненного чувства, мы тем самым не вышли из пределов темы: анализа двух стихий в Толстом. Ибо сложность церковно-христианского непонимания есть *та самая* сложность, которую прекрасно чувствует и знает гениальный художник. Толстой-художник свидетельствует, что жизнь несоизмерима с пфулевским разумом, что сложность ее *не передаваема* ни в каком логическом рассуждении, что в ее неисследимые глубины можно проникать лишь под водительством сверхсудочного сцепления образов. И когда, свободный от нехлюдовщины, он мудро следует внушениям своего гения, — он пишет «Войну и мир» — лучшее художественное опровержение своих будущих эмпирических о войне.

Толстой с несравненной силой показывает, что исторические события неподвластны *воле* отдельных людей, что есть нечто Высшее, Непостижимое в движениях и столкновениях народов. Если это высшее несводимо на произвол правителей и царей, если Толстой издевается над мнимой уверенностью Наполеонов и Пфулей, которые думают, что они правят событиями, а не событиями ими, — то не смешон ли Нехлюдов, который мечтает своим неделанием переделать мир и своим немощным словом изменить объективный и таинственный *ход истории*? С точки зрения «Войны и мира», Нехлюдов — это маленький Наполеон наизнанку. Наполеон «переворачивал мир» из честолюбия и для славы. Нехлюдов хочет сделать то же самое, т. е. перевернуть мир, теми же самыми *личными* средствами, но только из «высших» соображений и ради добродетели. Но никто лучше и очевиднее Толстого не показывал, что «переворачивание мира» есть *театральное* предприятие, что история — не пустая арена для честолюбивых жестов Наполеона или для добродетельных манифестаций князя Нехлюдова, а некий *живой*, бесконечно сложный поток, таинственно руководимый *неисповедимым Провидением*.

Он имеет *свои* великие цели, скрытые и от участников исторических событий, от позитивных историков и доступные лишь второму художественному и религиозному зрению гениального творчества и детской непосредственной веры.

Нетрудно было бы продолжить предложенный здесь анализ столкновения двух стихий в Толстом и показать, что нехлюдовское отрицание таинства брака и таинственного смысла влюбленности и любви отвергается художником Толстым, что нехлюдовская критика искусства есть совершенная бессмыслица перед грандиозным фактом художественного творчества Толстого, что нехлюдовскому космополитизму и воляпюковской отрешенности от своей национальности противостоит целомудренно скрываемый, но страстный и яркий патриотизм автора «Войны и мира». Но время кончать...

Невысказанная трагедия жизни Толстого состоит в скрытом, но постоянном столкновении в нем двух стихий: художественной и рассудочной. Если в первой стихии он гениален, то во второй упорен. Если в художественном периоде своей жизни он с божественной щедростью рассыпает дары своих созерцаний и своих вдохновений, то в периоде рассудочном он с нехлюдовским упрямством «прет против рожна» и, не смущаясь бесплодием и явным оскудением своего духа, ни за что не хочет сознаться в главном своем грехе: *в волею избрании* пфулевского ума за высшего судью и за высший авторитет. Когда Толстой в своих исканиях подошел к Церкви — этой единственной носительницы Смысла и Логоса среди всеобщего хаоса и бессмыслия жизни, — гордыня, в нем жившая, удержала его от полного, смиренного и любовного слияния с верующими. Это немое событие жизни Толстого оказалось самым трагическим из всего им пережитого и бесконечно значительным. Стихия художественная не только принимала Церковь, но и требовала ее как своего завершения, как своего венца. Стихия художественная широко открывала глаза Толстого на мир, и он видел святость, таинственность и неизбежность Церкви. И вот, отвергая Церковь актом неосмысленной, хаотической воли, Толстой *тем самым отвергал и убивал в себе художественную стихию*. Восставая против Церкви, он должен был восстать *против самого себя*, призвать на помощь им же осмеянный пфулевский ум, а дядю Ерощку сковать Нехлюдовым. Жизнь Толстого с конца 70-х годов — это непрерывное духовное самоубийство, постоянная плененность его орлиного

духа добровольно надетыми путами. Он отверг Церковь, и Россия потеряла художника несравненной силы. Но Церковь он не только отверг; он больно ушибся об нее, и всю жизнь у него болело ушибленное место, и он с неразумием истинного ребенка *бил ушибившее место*. Более тридцати лет он пишет все об одном — о недостатках церковного учения; все разрушает и разрушает и никак разрушить не может. И духовная трагедия этой жизни закончилась скорбной смертью. Дух Толстого готов был разбить свой добровольный плен, сделал несколько величественных орлиных взлетов — и изнемог... То, что он культивировал в себе, уже успело отложиться *вовне*, и когда он в предсмертном порыве готов был освободиться от нехлюдовщины внутренней, его сковала и окружала нехлюдовщина внешняя, и он умер, не примиренный ни с русским народом, ни с Православной Церковью, ни с художественной стихией, в которой благодатью Природы был призван творить и учить.

Этот предсмертный порыв не только прекрасен. Он внутренне зачеркивает все нехлюдовское в Толстом. Он показывает, что во внутренней и трагической борьбе двух стихий Толстой в последний момент уже готов был сказать великое «да» тому, с чем Нехлюдов враждовал, и, во всяком случае, решительно сказал «нет» тридцатилетней нехлюдовщине своей жизни.

Много великого написал Толстой — и много дурного и кощунственного. Будем же свято и ревниво помнить его истинные и богатые приношения русскому народу, а к его кощунствам отнесемся так, как отнеслась странница к нехлюдовским насмешкам Пьера Безухова над верой народа.

«Отец, отец, грех тебе, у тебя сын, — заговорила она вдруг, переходя в яркую краску. — Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости. — Она перекрестилась. — Господи, прости его»... Когда же Пьер, искренно смутившись, робко стал извиняться, странница Пелагеюшка, которая уж собралась было уходить, остановилась недоверчиво. «Но в лице Пьера была такая искренность раскаяния и князь Андрей так кротко смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, *что она понемногу успокоилась*».

В предсмертном движении Толстого чувствуется искренность раскаяния и робкие извинения Пьера за его грубые слова. Пусть он не сумел сказать, пусть ему помешали сказать, но шевельнулось же в нем что-то необычное, несказанное, великое, и хочется верить, что это добрый Пьер *спохватился* за все неосторожные слова свои и тем самым отнял у них всякую силу.

